АЛЕКС НОРВЕЛ



Последние письма

РОМАН

18+

Алекс Норвел

Последние письма

«Автор»
2026

Норвел А.

Последние письма / А. Норвел — «Автор», 2026

Ингрид — медсестра хосписа в маленьком северном городе. Умирающие просят её записать последние письма родным, и она соглашается охотнее всех. А потом, дома, на кухне, переписывает их. Тем, кто так и не пришёл попрощаться, достаётся не прощение, а то, что они, по мнению Ингрид, заслужили.Девятнадцать лет назад она сама получила такое письмо. Конверт без подписи, несколько холодных строк от умершей матери.Когда в хоспис умирать приходит старая медсестра Маргит, единственный человек, который видит Ингрид насквозь, её правота начинает трещать.Злой, мрачный и смешной роман о последних словах, которые за умирающих говорят другие.

© Норвел А., 2026
© Автор, 2026

Содержание

Глава 1. Утренний обход 6
Глава 2. Аксель 13
Глава 3. Почерк как в прописях 19
Глава 4. Конверт без подписи 25
Глава 5. Маргит 31
Глава 6. Заднее крыльцо 37
Конец ознакомительного фрагмента. 39

Алекс Норвел
Последние письма

Последние письма

Глава 1. Утренний обход

В семь утра у нас закончились маленькие перчатки. Люди пока не закончились.

Я натянула средние. На концах пальцев осталось по полсантиметра пустоты. Можно было по очереди щипать себя за резиновые ногти, пока ночная медсестра сдавала смену.

— Третья почти не спала. В пятой дважды меняли бельё. Аксель пил понемногу. Элиза спрашивала, сегодня воскресенье или нет.

— А сегодня?

Она посмотрела на меня.

— Не начинай.

На посту пахло кофе, нагретым пластиком и кремом для кожи. Из-за закрытой двери тянуло другим. Ночная сестра подвинула ко мне журнал. На манжете у неё засохло детское яблочное пюре. Здесь его ели люди с пенсиями, вставными челюстями и взрослыми детьми, которые звонили уточнить, хорошо ли папа кушает.

— Родственники из пятой просили перезвонить.

— Что-нибудь случилось?

— Хотят знать, что врач сказал вчера.

— Вчера они с ним говорили.

— Хотят ещё раз.

Она закрыла ручку, не попав колпачком с первого раза. Я забрала журнал.

— Иди.

— Ты до скольких?

— До вечера.

— Сочувствую.

В коридоре Хедда везла тележку с чистым бельём. Переднее колесо дёргалось поперёк движения. Хедда при каждом толчке приподнимала тележку за ручку, словно та была непослушной собакой.

— Опять колесо? — спросила я.

— Ему обещали замену.

— Когда?

— Оно не доживёт.

Хедда засмеялась и сразу прикрыла рот ладонью. Не из уважения к тишине. У неё треснула губа.

За окнами лежал снег. В свете уличного фонаря он был жёлтым, дальше — синим. Снегоуборщик уже прошёл по дороге и завалил выезд со стоянки. К девяти туда приедет кухонный фургон. Водитель будет ругаться, Хедда принесёт лопату, оба вспотеют. Каждую зиму город удивлялся снегу с той же искренностью.

Я взяла с тележки простыню, подкладную пелёнку и два полотенца.

В третьей женщина лежала с открытыми глазами. На одеяле была собрана складка, которую она всю ночь тянула к подбородку. Теперь держала обеими руками, не в силах отпустить.

— Доброе утро. Это Ингрид.

— Знаю.

— Отлично. А то я пока не вполне уверена.

Она посмотрела на мои руки.

— Опять мыть?

— Боюсь, да.

— Вчера мыла.

— Я тоже. Никакого толку.

Я закрыла дверь и подошла к окну. Между рамой и подоконником лежало свёрнутое полотенце. Оттуда всё равно дуло. Подтянула штору, чтобы не касалась батареи, поставила таз на стул.

— Сначала лицо. Вода тёплая. Попробуете?

Я поднесла салфетку к её ладони. Она потрогала мокрый край и кивнула.

На мытьё лица ушло минуты три. Поднять голову. Подождать. Убрать прилипший к виску волос. Дать отдышаться. Когда я добралась до шеи, она закрыла глаза.

— Холодно?

— Стыдно.

— Тогда начну с ног. Там вы меня не видите.

— Дура ты.

— Это в характеристике есть.

Она разжала одну руку. Я убрала складку одеяла, а ладонь накрыла сухим полотенцем.

Под одеялом было тепло и тяжело пахло мочой. Я оставила грудь и живот закрытыми, отогнула только край. Кожа на голенях блестела, на пятке темнело пятно, которое мы фотографировали и описывали уже третий день. Я устроила ногу так, чтобы пятка не касалась матраса.

— На бок сейчас сможете?

— Нет.

— Тогда вместе. Вы держитесь за меня. Только не за шею, она у меня казённая.

Позвала Хедду. Мы повернули женщину на бок. Она резко втянула воздух.

— Стоп, — сказала я.

Мы остановились. Хедда держала её за плечо и бедро. Я подождала, пока пальцы на моём рукаве ослабнут.

— Уже лучше?

— Делайте.

— Не торопимся.

— Вам хорошо говорить.

— Да.

На это у меня не было шутки.

Мы сменили пелёнку, скатали мокрую простыню к спине, подсунули чистую. Хедда вытащила из-под подушки платок с затвердевшим уголком и незаметно бросила в мешок. Женщина всё видела.

— Не выбрасывайте.

— Постираем, — сказала Хедда.

И переложила платок в карман фартука.

Когда закончили, я смазала женщине губы и поднесла воду. Она сделала два глотка. Третий не захотела.

— Красавица, — сказала Хедда, поправляя наволочку.

— Врёшь.

— По должности положено.

Я оставила кнопку вызова у правой руки. Прежде чем выйти, попросила нажать. Над дверью загорелась лампочка.

— Работает, — сказала женщина с недовольством.

— К сожалению. Будем приходить.

В коридоре Хедда сунула мне под мышку пачку чистых салфеток.

— У тебя в карман не влезет.

— Влезет.

— У тебя там склад.

В кармане были ножницы, две ручки, тюбик крема, пластырь, сложенный лист назначений и печенье в упаковке, которая уже не гарантировала целостность продукта. Печенье я выбросила. Жалко стало только после.

Телефон зазвонил, когда я мыла руки.

Он звонил долго. У нас вообще всё происходило долго, кроме того, к чему следовало успеть.

Я вытерла ладони, взяла трубку.

— Хоспис.

Мужской голос спросил про женщину из пятой. Назвал фамилию, потом уточнил, что он сын. Мы с ним разговаривали позавчера. И до этого. Голос я узнавала лучше, чем лицо: лицо он принёс сюда один раз, почти месяц назад.

— Ночь была беспокойная, — сказала я. — Сейчас отдыхает.

— Но в целом как дела?

Я посмотрела на доску с назначениями.

В целом у вашей матери не было никаких дел. Её переворачивали, поили, давали обезболивающее. Иногда ей удавалось заснуть. Из будущего у неё оставался обед, и тот под вопросом.

— Состояние тяжёлое, — сказала я.

Он помолчал.

— Она спрашивала обо мне?

— Ночью я не работала.

— Ну, если что, у вас мой номер.

— Вы собираетесь приехать?

На другом конце что-то щёлкнуло. Поворотник или ручка. Я слышала эти щелчки почти в каждом разговоре, где требовалось простое «да».

— Постараюсь на неделе. Сейчас с дорогой… Вы же видите погоду.

Я видела. Мы все каким-то образом добрались. Хедда приехала на автобусе, а от остановки шла боком, потому что прямо её сдувало.

— Позвоните перед приездом, — сказала я.

— А вы ей передайте, что я звонил.

Я записала время звонка. Рядом поставила пометку: «обещал на неделе». Третья такая пометка за месяц. Я вела им счёт, как другие ведут счёт калориям: без надежды на результат, из чистой злости. Ручка продавила бумагу до следующего листа.

В пятой женщина спала. Рот был открыт. На тумбочке стояла коробка конфет с нетронутой лентой, а под ней лежала записка: «Скоро будем».

Я проверила, удобно ли лежит рука, и вышла.

У Элизы телевизор показывал рекламу средства для чистки духовок. Звук был выключен. Женщина на экране улыбалась так широко, будто грязная духовка много лет мешала ей любить мужа.

— Выключить? — спросила я.

— Пусть. Там потом будут дома.

Элиза любила передачу, где людям показывали дома, которые они не могли себе позволить. Сегодня она сидела выше обычного, опираясь на три подушки. Ночью одну опять сложили пополам, и край упирался ей в шею.

— Сейчас поправим.

— Я сама всё время сползаю.

— Это кровать. У неё с вами личное.

Я подняла изголовье, расправила подушку. Элиза придерживала ворот ночной рубашки, пока я меняла влажное полотенце на груди.

— Мне бы волосы, — сказала она.

— Расчесать?

— Если некогда, то не надо.

— Уже поздно. Я услышала.

Расчёска лежала в верхнем ящике, в футляре от очков. Я достала её и встала за кроватью. На затылке волосы свалялись. Пришлось придерживать пряди у корней и разбирать понемногу.

— Тяну?

— Нет.

Через секунду она сморщилась.

— Элиза.

— Чуть-чуть.

На подоконнике стояла фотография Лотте. Я повернула её к кровати: Хедда протирала пыль и оставила рамку боком.

— Позвонить дочери? — спросила я.

— Не сейчас. У неё работа.

— Я могу позже.

— У неё своя жизнь, Ингрид.

Она сказала это быстро. Заранее приготовленная фраза, без единой складки. Я провела расчёской ещё раз и собрала волосы у неё на шее.

— Заколоть?

— Только не туго.

Заколка плохо держала. Пришлось вынуть и сделать заново. Элиза терпеливо смотрела на дома без звука.

— Красиво? — спросила она.

Я подала маленькое зеркало.

Она подняла его, посмотрела и сразу опустила.

— Хорошо. Спасибо.

Я забрала зеркало, прежде чем оно выскользнуло. На её ладони осталась розовая полоска от ручки.

— Вам кашу или йогурт?

— Что проще.

— Мне проще уйти в отпуск. Выбирайте.

Элиза улыбнулась.

— Йогурт.

Я открыла баночку и осталась, пока она ела. На каждую ложку приходилось ждать. За дверью проехала тележка, потом обратно: Хедда что-то забыла. Телефон снова зазвонил.

— Там вас, — сказала Элиза.

— Найдут.

Она съела меньше половины и попросила убрать.

Я поставила воду ближе, проверила кнопку и убрала с одеяла волос. Он прилип к перчатке. В коридоре я долго не могла его стряхнуть.

У Брама пахло вчерашним чаем. Он не давал унести кружку, пока на дне оставалось хоть что-нибудь, и накрывал её открыткой. На открытке был маяк.

— Ноги, — сказала я.

— На месте.

— Покажите.

— Сама смотри.

Он отвернул одеяло ровно настолько, чтобы я могла добраться до ступней. Носки оставили глубокие следы. Я осторожно стянула один, потом второй.

— Эти тесные. Принесу другие.

— Эти нормальные.

— Вы в них собираетесь груз перевозить? Тогда оставим.

Брам посмотрел на резинку, потом на меня и убрал ноги под простыню.

На тумбочке лежал телефон с крупными кнопками. Под ним — листок с номером Нильса, написанным такими цифрами, будто читать предстояло с другого берега.

— Внуку набрать? — спросила я.

— Нет.

— Хорошо.

— И чай не трогай.

— Его уже можно резать.

— Вот и поем.

Я принесла носки без тугой резинки. Пока надевала, Брам держал край простыни, чтобы не мешал. Ногти на руках у него были толстые, желтоватые. Одним он зацепил ткань и долго высвобождал, сердясь вполголоса.

Я подождала. Помощь он принимал строго по утверждённому списку. Ноги — можно. Простыню — сам.

У дверей он спросил:

— На улице скользко?

— Да.

Брам кивнул и снова накрыл кружку маяком.

К девяти у меня вспотела спина. В коридоре было жарко, в палатах у окон тянуло холодом. Я сняла кофту, повесила на спинку стула и обнаружила на рукаве белёсый мазок крема.

Хедда стояла у раковины и ела половину бутерброда. Вторую держала над салфеткой.

— Будешь?

— Ты где его взяла?

— Дома.

— Тогда буду.

Она отдала мне половину. Хлеб размок от огурца.

— В третьей уснула, — сказала Хедда.

Я кивнула с полным ртом.

— И платок её я замочила. Не дай вылить.

На столе между упаковками салфеток стоял пластиковый стакан с серой водой. В воде плавал платок. Я передвинула стакан подальше от чайника.

В дверь поста постучал мужчина в расстёгнутом пальто. На плече таял снег. Он держал прозрачную папку и не заходил дальше порога.

— Мне сказали, здесь подписать бумаги.

Я проглотила хлеб.

— Администратор будет через полчаса.

— А раньше никак? Я ненадолго вырвался.

Хедда заворачивала остаток бутерброда. Очень тщательно. Ей хотелось что-нибудь сказать, я видела по губам.

— Вы к кому? — спросила я.

Он назвал женщину из комнаты в конце коридора.

— Можете пока посидеть с ней.

— Она спит?

— Зайдите, посмотрите.

— Не хотелось бы будить.

Какое бережное у нас население. Спящего человека боятся потревожить даже собственным присутствием. Его мать умирала в конце коридора третью неделю. Он приехал впервые — подписать, кто будет платить за похороны. Видимо, чтобы не тревожить её и потом.

Я показала ему дверь. Он посмотрел на часы, потом туда, куда я показывала.

— Бумаги у администратора?

— Да.

Он остался ждать у окна. Пальто не снял. Через стекло было видно, как водитель фургона разглядывает снежный вал.

Хедда вздохнула, сунула бутерброд в холодильник и пошла за лопатой.

Я взяла поднос для ухода за полостью рта и сверилась с назначениями Акселя.

Из его палаты было слышно тихое покашливание. Он сидел, опустив голову, и держал на коленях полотенце. На полотенце лежала зубная щётка. Возле раковины стояла ходилка, до которой он сегодня не добрался.

— Вы собрались без меня?

— Подумал, успею.

Он поднял голову и улыбнулся с таким неудобством, будто я застала его за кражей казённого мыла.

— Куда спешили?

— Умыться.

— Это можно.

Я поставила поднос. У него были тяжёлые руки. Когда я брала ладонь, чтобы поправить рукав, он старался помочь и делал её ещё тяжелее.

— Отдайте мне. Просто отдайте.

— Она и так твоя.

— Тогда не отбирайте обратно.

Он перестал напрягаться. Я подложила полотенце ему под подбородок, подала щётку. Несколько движений он сделал сам. Потом рука опустилась.

— Продолжим?

— Минуту.

Мы подождали. Вода в стакане тихо стукалась о край, пока я не поставила его на тумбочку.

За окном человек в пальто помогал водителю откидывать снег. Лопата у них была одна. Второй работал широкой доской. Я смотрела недолго.

Аксель протянул мне щётку.

— Давай ты.

Я помогла ему почистить зубы, подставила лоток, вытерла рот. На щетине осталась вода. Он попытался убрать её полотенцем, но промахнулся и потёр ухо.

— Почти, — сказала я.

— Раньше лучше получалось.

— Ухо у вас чистое. Уже результат.

Он коротко засмеялся и закашлялся. Я придержала его за плечи. Под тонкой рубашкой чувствовались лопатки. Пока он кашлял, я ждала, держа салфетку наготове. Потом убрала мокрую, дала чистую.

— Болит сейчас?

— Терпимо.

— Это не цифра.

Он прикрыл глаза.

— Четыре. Когда кашляю — больше.

Я посмотрела на часы и отметила, что нужно сделать. Он следил за ручкой.

— Всё записываете.

— Иначе к обеду забуду, как меня зовут.

— Ингрид.

— Вот. Пока вы помните, я в безопасности.

На тумбочке стоял стакан с водой. Рядом лежала авторучка, слишком тонкая для его пальцев. Колпачок был снят. Я надела его, пока паста не попала на простыню.

Пациенты иногда просили записать письмо. После обеда, ночью, между глотком воды и просьбой подвинуть подушку. Ручку держать тяжело, телефон не слушается, голосового сообщения стесняются. Приходилось садиться и писать.

Обычно звали меня. Я соглашалась охотнее остальных. Мне нравилось, что хоть в одной работе можно сидеть. У меня была своя тетрадь для черновиков и запас конвертов в нижнем ящике поста. Другие сёстры радовались: ещё одна просьба, с которой не надо разбираться им.

Я положила ручку подальше от края.

— Так. Теперь чуть повернёмся.

Аксель посмотрел на дверь.

— Ещё кто-нибудь нужен?

— Хедда придёт. Вдвоём удобнее.

— Я могу сам подтянуться.

— Знаю. Поможете нам на счёт три.

Я позвала Хедду. Она вошла с красными от мороза руками, уже вымытыми, и потянулась за перчатками.

— Раскопались? — спросила я.

— До весны хватит.

Аксель попытался убрать ноги, чтобы ей было удобнее подойти. Хедда мягко придержала его колено.

— Оставьте. Мы обойдём.

Мы подняли его выше на скользящей простыне, поправили рубашку под спиной. Я проверила кожу, расправила всё, что могло давить, устроила подушку между коленями. Аксель сжал зубы, пока мы поворачивали его, но не издал ни звука.

— Дышите, — сказала я. — Нас ругать тоже можно.

— За что?

— Придумаете.

Когда он устроился, Хедда собрала мокрые полотенца и вышла. Я осталась поправить столик. Стакан поставила справа, ближе к ладони. Кнопку положила поверх одеяла, провод высвободила из-под локтя.

Аксель смотрел, как я прикрепляю зажим к краю наволочки.

— Не будет тянуть?

— Попробуйте.

Он чуть пошевелил рукой.

— Нет.

Я поднесла воду. Он выпил и отвернулся от стакана. На нижней губе осталась капля. Я промокнула её уголком салфетки.

В коридоре снова звонил телефон. Хедда ответила, сказала кому-то подождать. Я подняла поднос.

— Отдыхайте. Скоро зайду.

— Ингрид.

Я остановилась у двери. Он подтянул ладонь к лежавшей на тумбочке ручке, но не взял её.

— Зайди вечером. Хочу написать сыну.

Глава 2. Аксель

К вечеру Аксель успел передумать насчёт ужина, положения кровати и носков. Насчёт письма не передумал.

— Я думал, ты забудешь, — сказал он.

— Тогда зря берегли силы. Могли съесть пудинг.

— Он ещё здесь.

Пудинг стоял на столике. На поверхности образовалась плотная кожа. Под ложкой можно было бы обнаружить второй пудинг, помоложе.

Я убрала поднос, вытерла липкий круг и поставила стакан на чистое место. Аксель следил за мной, придерживая левой рукой правую. Так пациенты иногда держат больную конечность: вроде своя, а доверия уже нет.

— Сначала устроимся, — сказала я.

— Мне хорошо.

Подушка съехала ему под лопатку. Голова висела над ней, подбородок упирался в грудь.

— А можно ещё лучше.

Я подняла изголовье, расправила наволочку, помогла ему откинуться. Он пах кислым молоком и кремом. У воротника засохла капля пудинга. Я намочила салфетку и сняла её, придерживая ткань, чтобы не тереть шею.

— Рубашку поменяем?

— После.

— Договорились.

В коридоре гремели тарелки. Кто-то из вечерних сестёр пытался закрыть переполненный мешок с бельём. Колёса тележки скрипели через равные промежутки. Одно колесо у нас лечили уже третий месяц. Переживёт всех.

Я придвинула стул, достала тетрадь и ручку.

— Свет не мешает?

— Нет. Тебе видно?

— Видно.

Он посмотрел на страницу.

— Только у меня плохо получается.

— Вы говорите. Я пишу.

— Я не про это.

Я сняла колпачок и подождала.

Аксель разгладил одеяло. Средний палец не разгибался до конца, и он провёл по складке костяшкой. Потом ещё раз. Я уже знала, что он делает так, когда собирается попросить что-нибудь неудобное. Дополнительную подушку. Открыть окно на минуту. Помочь с мочеприёмником. Теперь — письмо сыну.

— Йохан, — сказал он.

Я написала имя.

— Дорогой? Или не надо?

— Как хотите.

— Наверное, надо.

Я оставила перед именем место и вписала «Дорогой».

— Можно потом зачеркнуть?

— Можно всё.

Он кивнул. На эту минуту я могла предложить ему довольно много. Чистый лист, другую ручку, любое обращение. В остальном выбор был между положением на боку и положением на спине.

— Дорогой Йохан. Я давно собирался тебе написать.

Я записала.

Он молчал так долго, что за дверью успели провезти тележку обратно.

— Не получается, — сказал он.

— Это уже начало.

— Давно собирался. Как будто был занят.

Я подняла ручку.

— Убрать?

Он подумал.

— Нет. Собирался же.

Я поставила точку.

Сын у него ни разу не был. В карте лежал номер телефона. В шкафу — две рубашки, привезённые вместе с ним, и брюки, которые теперь были ему велики на два размера. На тумбочке не было ни фруктов, ни цветов, ни одной из тех чудовищных открыток, где пожелание скорейшего выздоровления напечатано золотом для удобства безнадёжного больного.

Зато сын где-то существовал. Ел. Покупал туалетную бумагу. Раздражался, когда перед ним долго считали мелочь. Сорок с лишним лет человеку, наверняка научился самостоятельно находить двери. Нашу никак не мог.

— Напиши: «У меня всё…»

Аксель остановился.

Я не стала писать дальше.

— Не хорошо, — сказал он. — Просто напиши, что за мной здесь смотрят.

— «За мной здесь хорошо смотрят»?

— Да. Ты только не подумай, что я специально.

— Поздно. Уже рассчитываю на премию.

Он улыбнулся. Улыбка отняла у него немного воздуха. Я положила ручку и подала воду.

— Маленький глоток.

Он выпил, подержал воду во рту и проглотил. Я осталась со стаканом возле его губ, пока он не покачал головой.

— Ещё напиши, что ночью тоже.

— Хорошо.

Это я записала слово в слово: «И ночью тоже».

Человек прощался с сыном и заботился, чтобы ночная смена получила свою долю благодарности. Ночная смена, если честно, больше обрадовалась бы исправному подъёмнику. Но Акселю я этого не сказала.

— Теперь… — Он потёр большим пальцем край одеяла. — Я был не лучшим отцом.

Ручка заскребла по бумаге.

— Но я думал о тебе.

Я дописала и посмотрела на него.

— Дальше?

— Сейчас.

Он смотрел на свои руки. Тяжёлые, широкие, с плоскими ногтями. Когда я мыла ему ладони, приходилось по одному раскрывать пальцы. В складках оставались волокна полотенец. Этими руками можно было бы держать что-нибудь настоящее. Доску, руль, чужую сумку. Теперь на них лежало одеяло, и даже его он иногда просил снять.

— «Не знаю, веришь ли ты мне». Нет. Этого не надо.

Я не успела опустить ручку.

— Не пишешь?

— Нет.

— Хорошо. Напиши: «Особенно в последнее время. Вспоминаю всякое».

Я записала.

— Он маленький был, — сказал Аксель. — Вечно снимал варежки. Скажешь надеть — наденет. Отвернёшься — уже нет.

Он посмотрел на страницу.

— Это не пиши.

— Не пишу.

— Хотя… Можно. Только короче. «Помню, как ты прятал варежки в карманы, а потом говорил, что потерял».

Я успела до того, как он снова засомневался.

Аксель попросил прочесть. Я прочла от начала до варежек, медленно, не придавая словам выражения. Некоторые любят, когда им читают с чувством. Тогда нужно смотреть на лицо и угадывать, в каком месте будет достаточно. С Акселем я читала просто. Он слушал, слегка шевеля губами.

— Получается, я его ругаю, — сказал он.

— Хотите убрать про варежки?

— Добавь, что мы их всегда находили.

Я добавила.

— В карманах?

— Да.

Мы оба посмотрели на написанное.

— Он поймёт, — сказал Аксель.

— Конечно.

В коридоре зазвонил телефон. Я услышала, как сестра назвала хоспис, потом сказала: «Минутку, посмотрю». Родственники любили звонить во время ужина. Можно одновременно жевать и проявлять участие. У некоторых даже дыхание в трубке было заботливое. Приехать они не могли. Видимо, забота занимала весь вечер.

Аксель прислушался.

— Вы ждёте звонка? — спросила я.

— Нет.

Я подвинула стакан, чтобы он не задевал его локтем.

— Продолжим?

Он кивнул.

— «Если захочешь приехать, приезжай. Если не можешь, я понимаю».

Я написала обе фразы. Ровно так, как он сказал.

Вот это «понимаю» у нас встречалось чаще пролежней. Его говорили люди, которым требовалась помощь, чтобы повернуть голову на подушке. Всё они понимали. Работу. Пробки. Детские кружки. Усталость здорового человека к пятнице. Лежали и понимали, пока родственники берегли себя от неприятных впечатлений.

— Не надо, чтобы он думал, будто я требую, — сказал Аксель.

— Можно оставить как есть.

— Да. Пусть будет.

Он поднял правую руку и потянулся к тумбочке. Я подала салфетку раньше, чем он попросил. Он вытер нос, потом аккуратно сложил её, пряча мокрое внутрь.

— Устали?

— Немного.

— Можем закончить завтра.

Он посмотрел на меня.

— Сегодня бы.

— Тогда не торопимся.

Я забрала салфетку. Поправила одеяло, на этот раз сама расправила складку, которую он всё гладил. Подержала его ладонь, пока он устраивал локоть. Кожа на тыльной стороне руки была холодная, ладонь влажная.

Он отдышался.

— «Я хотел бы знать, как ты живёшь. Надеюсь, у тебя есть кто-нибудь хороший рядом».

Я записала.

— Не женщина обязательно, — пояснил он. — Кто-нибудь.

— Так и написано.

— Да.

Он закрыл глаза. Я сидела, держа ручку над страницей. Сосед за стеной дважды нажал кнопку вызова. Послышались шаги, потом короткий смешок сестры. Здесь ещё работали люди. Можно было остаться с Акселем и не представлять каждую минуту, кто в это время лежит мокрый.

— Прочитай с того места, где про отца, — попросил он.

Я прочла.

На словах «но я думал о тебе» он нахмурился.

— Что-то изменить?

— Нет. Я думал.

— Хорошо.

— Только это мало толку.

Я подождала, собирается ли он диктовать. Он больше ничего не добавил.

Последнюю строчку он произнёс, глядя мимо меня:

— «Обнимаю тебя. Папа».

Я закончила и положила ручку.

— Прочесть целиком?

— Давай.

Когда я дошла до конца, он попросил поднести лист. Очки лежали в футляре за стаканом. Я протёрла их краем чистой салфетки и надела ему. Потом держала тетрадь перед ним, чуть наклонив к свету.

Читал он долго. Я следила, чтобы руки не начали дрожать: тогда ему пришлось бы читать мою усталость вместе со своей жизнью.

— У тебя почерк хороший, — сказал он.

— Профессиональный обман. В назначениях пишу хуже.

Он не засмеялся, только выдохнул носом.

— А переписать надо? Здесь зачёркнуто.

— Перепишу начисто.

— Можно не сегодня.

— Сегодня.

Он кивнул и откинул голову. Я сняла очки, сложила дужки.

— Адрес где?

— В верхнем ящике. Под коробкой.

Там лежали запасные батарейки для слухового аппарата, которым он почти не пользовался, и сложенный вчетверо листок. Адрес был написан печатными буквами. Я перенесла его на конверт и показала Акселю.

Он проверил номер дома. Потом индекс. Имя сына проверял дольше всего.

— Всё правильно.

— Отправлю.

— Спасибо, Ингрид.

Он сказал это так тихо, что я скорее увидела движение губ.

Я убрала тетрадь и конверт в карман. Потом мы поменяли рубашку. Сначала освободили одну руку, потом другую. Аксель извинялся за пот. Я сказала, что для сухих и благоухающих у нас пока нет отделения.

Чистая рубашка застряла на локте. Я расправила рукав, не потянув за кожу. Укрыла его, оставила кисти поверх одеяла. Он попросил выключить верхний свет.

— Кнопка здесь, — сказала я, положив её под левую руку. — Я ещё загляну перед уходом.

— Хорошо.

Перед уходом он спал. Рот был приоткрыт, губы сухие. Я смочила их, проверила, не съехала ли подушка, и вышла, не включая света.

Дома я сначала поставила чайник, потом сняла ботинки. В носке возле большого пальца была дыра. Палец вышел наружу и некоторое время участвовал в моей домашней жизни самостоятельно.

На кухне пахло хлебом из пакета. Я включила свет над плитой. Верхний был слишком яркий. После смены мне хватало того, что я и без него видела собственное лицо в тёмном окне.

Пока закипал чайник, я вымыла кружку. На дне осталось вчерашнее чайное кольцо. Оно сошло под губкой не сразу. Руки щипало от горячей воды. Кожа возле ногтей потрескалась, и я старалась не задеть её жёсткой стороной.

Тетрадь положила на сухой край стола. Рядом — конверт с адресом Йохана.

Я достала чистый лист.

Чай заваривался, пакетик медленно опускался на дно. Я села и прочла письмо Акселя ещё раз. Местами нажимала слишком сильно: на обратной стороне бумаги проступили бороздки. Особенно там, где он сказал, что понимает.

Чистовой вариант я всегда писала от руки. Печатные письма из хосписа похожи на извещения о задолженности. Получатель сначала ищет сумму. Рукописное приходится читать.

Я написала:

«Йохан».

Без «дорогой». Достаточно имени. Взрослый мужчина переживёт отсутствие прилагательного. Возможно, это будет его первое серьёзное испытание за неделю.

Я пригубила чай. Горячий, но уже можно было пить.

На листе Акселя было: «Я давно собирался тебе написать». Я перенесла эту фразу. Она годилась.

Потом написала:

«Теперь времени осталось немного, и я хочу, чтобы ты знал: я ждал тебя».

Ручка оставила кляксу на точке. Я промокнула её уголком салфетки. Почти не видно.

Он ведь ждал. Слушал телефон. Проверял адрес, как будто от правильно написанного индекса зависело, найдёт ли сын дорогу обратно. Говорить об этом вслух ему было неловко. Попросить воды проще. Воду принесут, и никто не станет объяснять, что у неё своя жизнь.

Я написала следующую строчку без остановки:

«Я прощаю тебя, хоть ты меня предал».

Посмотрела, ровно ли идёт строка. Последнее слово чуть поднялось. Я повернула лист и продолжила:

«Надеюсь, тебе с этим хорошо живётся».

На лестнице хлопнула дверь. Я подняла кружку, прислушалась к шагам. Сосед прошёл этажом выше. В трубе у стены щёлкнуло.

Я поставила кружку обратно, подальше от бумаги.

Нельзя давать им диктовать в конверт всё, что они говорят у кровати. У кровати они измучены. Рады, что им поднесли воду, что не больно лежать, что никто не сердится из-за простыни. Скажи такому человеку, что сын устал, — он и за сына начнёт просить прощения. Я слышала это каждый день.

А потом сыну доставят письмо. Он прочтёт про понимание, про хороших людей рядом, про варежки. Покажет кому-нибудь. Скажет: «Отец до конца оставался собой». И спокойно доест ужин.

Умирающие слишком добры. У них на злость часто просто нет дыхания. Я могла посидеть ещё десять минут и сделать за Акселя то, на что его уже не хватало.

Я перечитала свой лист. Обращение. Четыре фразы. Никаких варежек.

Про хорошего человека рядом тоже не понадобилось. Йохан наверняка уже нашёл кого-нибудь, кто гладит его по голове и говорит, что он никому ничего не должен. Таких много. Я встречала их в коридоре. Обычно они держали партнёра под локоть, словно это ему предстояло умереть до выходных.

Внизу я написала: «Папа».

Так Аксель и продиктовал.

Я дала чернилам высохнуть и достала из хлебного пакета кусок хлеба. Есть не хотелось. Хотелось что-нибудь пожевать, не разговаривая и не стоя на ногах. Хлеб оказался сухим по краям. Я съела середину, корку оставила на тарелке.

Потом снова проверила адрес на конверте. Номер дома. Индекс. Имя. Здесь ошибаться было нельзя.

Лист сложила втрое, провела ногтем по сгибам. Он вошёл в конверт легко. Я заклеила клапан и прижала его кружкой, подложив сухую салфетку.

На столе осталась тетрадь.

Я осторожно вырвала страницу с письмом Акселя, придерживая соседнюю. Бумага всё равно надорвалась у верхнего края. На обороте ничего не было. Хорошо. Иногда приходилось переписывать ещё и список покупок.

В раковине лежала ложка. Я убрала её, вытерла стальное дно, открыла кран и снова закрыла: вода сейчас была не нужна. Зажигалка лежала в ящике возле плиты, среди резинок и прищепок для пакетов.

Я держала лист за верхний угол, поднеся огонь снизу. Сначала почернел край. Потом пламя поднялось к словам «Дорогой Йохан», и я опустила бумагу в раковину.

Она горела неровно. Свернулась, приподнялась над дном. Я отступила от дыма. На вытяжке зажужжал жирный фильтр.

Посередине уцелела полоска. Я узнала свой почерк: «но я думал о тебе».

Пришлось зажечь ещё раз.

Когда огонь погас, я раздавила чёрные хлопья дном стакана. Под ними обнаружился светлый кусочек с двумя буквами. Я подожгла и его. После этого пустила воду и смыла всё в слив. Пальцем убрала с края раковины серый след.

Чай остыл. Я допила его стоя.

Клапан конверта приклеился ровно. Я провела по нему пальцем, взяла конверт и открыла нижний ящик кухонного стола.

Там лежали ещё несколько таких же.

Я положила письмо Йохану сверху и задвинула ящик.

Отправляла я их после. Живой человек может передумать, дозвониться, дождаться. Всё испортить.

Глава 3. Почерк как в прописях

В сестринской кто-то приклеил к холодильнику записку: «Чужое не брать». Под ней стояла тарелка с половиной яйца. Яйцо было серым по краю и вполне могло защитить себя само.

Я села на стул возле батареи. Правая штанина намокла у колена: пока я мыла пациентку, шланг душа решил поработать самостоятельно. Ткань уже остыла. Я оттянула её от кожи.

Хедда разрезала булку маленьким ножом для фруктов. Булка крошилась, нож гнулся. На столе лежал пакет с яблоками, между яблоками — её варежки.

— Мой зять купил прибор, — сказала она.

— Соболезную.

— Для воздуха.

— Он до этого обходился без воздуха?

— Прибор показывает, когда открывать окно. Загорается красным.

Она провела ножом по маслу. Масло было твёрдое и вывернулось из коробки целиком.

— Вчера сидели у них, он каждые пять минут вставал. Говорит: опять красный. Открывал окно, закрывал окно. У меня спина до сих пор ледяная.

— Зато он знает почему.

— Я сказала: если душно, можно и без прибора заметить. Он обиделся. Дорогая вещь.

На столе передо мной стояла кружка с кофе. Сверху плавала тонкая плёнка. Я подула, плёнка собралась у края и приклеилась к стенке.

За дверью прокатили тележку. Одно колесо стучало при каждом обороте. Его собирались заменить с осени. Пока колесо могло вращаться, у администрации не было оснований для паники. С людьми мы придерживались примерно той же политики.

Хедда наконец отрезала масло и прижала его к булке большим пальцем.

— Не смотри так. Руки мыла.

— Я смотрю на нож. Ему тяжело.

Она положила нож поперёк коробки.

— Большой пропал. После праздников. Вместе с хорошей открывалкой.

— Родственники унесли на память.

— Очень смешно.

На праздники родственники привозили печенье. Круглые жестяные коробки, ленточки, бумажные салфетки со звёздами. Ставили на пост и говорили: это вам, вы такие замечательные. Иногда успевали произнести это, даже не сняв перчаток. Неплохая сделка. Коробка печенья вместо трёх часов рядом с отцом. Ещё и жестянку потом можно было использовать.

Я откусила хлеб с сыром. Сыр согнулся, но не оторвался. Пришлось придержать его пальцем.

— Ты опять только бутерброд? — спросила Хедда.

— Ещё кофе.

— Это я вижу.

— Значит, рацион разнообразный.

Хедда вытащила варежку из пакета, вытряхнула из неё яблочную наклейку и положила на подоконник.

— Я пирог принесла бы, но середина не пропеклась. Края хорошие, середина мокрая. Всё по рецепту делала.

— Прибор нужен.

— Тебе смешно, а я четыре яйца извела.

Она объяснила, сколько надо масла. Потом оказалось, что масла надо меньше, потому что яблоки теперь водянистые. Сахара тоже меньше. Я спросила, что остаётся от рецепта, если из него всё вычесть.

— Корица, — сказала Хедда. — Но её зять не любит. Говорит, пахнет свечкой.

Я допила половину кофе. В сестринской было жарко. Над батареей сушилась тряпка, от неё пахло пылью и хлоркой. Под потолком гудела лампа. Одну трубку недавно заменили, вторая мигала, чтобы не чувствовать себя забытой.

— Раньше тут духовка была, — сказала Хедда. — В старой кухне. Можно было подогреть по-человечески. А теперь эта коробка. Снаружи обжигает, внутри лёд.

Она кивнула на микроволновку.

— Раньше и посуды было больше. Чашки нормальные. С блюдцами. Мы потом блюдца под цветы ставили, когда чашки перебили. Маргит вечно с больными сидела, всё за ними записывала — письма, кому что отдать, рецепты какие-то. Почерк у неё был как в прописях. А у меня и тогда руки под конец смены тряслись. Слушай, у нас мука в шкафу ещё есть? Я бы тебе показала, какая нужна. Пакет с мельницей.

— Там крахмал и сахар.

— Крахмал зачем?

— Ты приносила.

— Для соуса. Точно. Они же тогда такую воду к рыбе давали, стыдно было нести.

Она встала, открыла шкаф и полезла за банку с растворимым кофе. Из шкафа выпала пластиковая крышка. Хедда поймала её животом.

— Всё надо подписывать, — сказала она. — Иначе никто ничего не знает.

— Яйцо подписали.

Она обернулась к холодильнику.

— Это не к яйцу. Там вчера торт стоял.

— Значит, записка не помогла.

— Торт забрали. Женщина из бухгалтерии. У неё сын экзамен сдал.

— Надеюсь, не на повара.

Хедда засмеялась с полным ртом, закашлялась и замахала рукой, когда я подвинула воду. Потом всё-таки выпила.

На стене висел график отпусков. Летние месяцы были исписаны густо, ноябрь оставался почти чистым. Никто не хотел отдыхать, когда за окном темно и мокро. Пациенты такого выбора не имели. Им ноябрь выдавали по наличию мест.

— Ты когда берёшь? — спросила Хедда.

— Не знаю.

— Потом опять останется самое плохое.

— Значит, буду здесь скучать по самому плохому.

Она стряхнула крошки с колен в ладонь. Вставать к мусорному ведру ей не хотелось. Я пододвинула его ногой.

— У тебя всё в шутку, — сказала она.

— У меня ещё мокрые брюки.

Хедда посмотрела на колено.

— В сушильном шкафу запасные есть.

— Сейчас высохнут.

— Тогда хоть от батареи отодвинься. След останется.

Я отодвинулась. На влажной ткани уже отпечаталась узкая тёмная полоса.

Телефон на посту зазвонил, замолчал и зазвонил снова. Я посмотрела на часы. До конца перерыва оставалось три минуты. Хедда подняла палец, продолжая жевать: сиди.

Она вышла с булкой в руке. Через приоткрытую дверь я слышала, как она сказала название хосписа, потом дважды повторила, что по телефону такие сведения не дают.

Я съела остаток сыра отдельно от хлеба. Вытерла стол, сполоснула кружку. Когда вышла, Хедда всё ещё слушала. Булку она держала на уровне плеча, как вещдок.

К обеду снег за окнами стал серым. Со двора его сгребли к забору, оставив посередине ровную дорожку шириной с похоронную тележку. Для продуктовой тоже подходило.

Элиза почти не притронулась к обеду. Картофельное пюре сохранило следы ложки, которой его положили. На подбородке у неё засохла капля соуса.

— Не идёт? — спросила я.

— Я немного съела.

— Вижу. Рыба успела испугаться.

Элиза улыбнулась и тут же посмотрела на тарелку, словно рыбу следовало утешить.

Я смочила салфетку тёплой водой.

— Можно?

Она приподняла подбородок. Я убрала соус, промокнула кожу сухим краем. На столике лежала раскрытая бумажная салфетка с двумя крошками. Элиза всегда старалась оставить после себя как можно меньше работы. Даже здесь. Даже сейчас, когда половину работы составляло удерживать её в удобном положении.

— Чуть приподнимем вас? Сползли.

— Я тяжёлая.

— Придётся как-нибудь справиться.

Я опустила изголовье, помогла ей согнуть ноги. Мы передвинулись выше. Она задержала дыхание от усилия, потом долго выдыхала сквозь губы. Я подождала, прежде чем снова поднять кровать.

— Так?

— Да. Спасибо. Ты ела?

— Ела.

— А то всё бегаешь.

Я подложила маленькую подушку под её левый локоть. Пальцы Элизы лежали на одеяле, слегка подогнутые. Кольцо свободно поворачивалось на пальце. Я поправила его камнем вверх, чтобы не давило.

— Может, йогурт попозже?

— Попозже можно.

Она посмотрела на подоконник. Там стояла фотография Лотте. Телефон лежал на тумбочке, экраном вверх.

— Ингрид, а ты могла бы мне написать?

— Конечно. Что-нибудь нужно?

— Письмо. Лотте.

Я убрала поднос с поворотного столика.

— Сейчас принесу тетрадь.

— Если некогда, не надо сейчас.

— Сейчас можно.

В нижнем ящике поста тетрадь лежала под упаковкой конвертов. Я проверила ручку на последней странице: черта получилась бледная, вторая нормальная. Взяла другую на всякий случай.

Элиза ждала, положив обе руки поверх одеяла. Когда я вошла, она убрала одну под одеяло, потом вернула. На стуле рядом с кроватью лежала кофта. Я повесила её на спинку и села.

— Дату ставить?

— Наверное. Как положено.

Я написала дату.

— Телефон разрядился? — спросила я.

— Нет. Там почти полный.

— Хотите, сначала наберём?

— Не надо. Она может быть занята.

Элиза посмотрела на часы над дверью.

— На работе сейчас.

— Она звонила на этой неделе?

— Нет ещё.

Месяц. Взрослая женщина месяц не могла найти телефон. Вероятно, устройство провалилось между работой и собственной жизнью. Туда же обычно девались выходные, отпуска и способность отвечать на сообщения.

— У неё работа, — сказала Элиза. — У неё своя жизнь.

Я разгладила страницу ладонью.

— Как начнём?

— «Дорогая моя Лотте».

Я записала.

Элиза следила за ручкой. Волосы у виска выбились из заколки. Я убрала прядь за ухо, потом вернула руку к тетради.

— «Решила тебе написать, потому что давно не слышала твоего голоса». Нет.

Я подняла глаза.

— Убрать?

— Она подумает, что я жалуюсь.

— Как хотите.

— Просто: «Решила тебе написать». А потом… «Здесь всё хорошо».

Слово «хорошо» заняло почти весь остаток строки. За стеной кто-то звал сестру. Из коридора пахло разогретой капустой. Элиза лежала на подкладной пелёнке и просила написать, что всё хорошо. У дочери, должно быть, была тонкая душевная организация. Не стоило пачкать её подробностями.

— «За мной ухаживают. Все очень добрые».

— Записала.

— Ты не думай, я не потому, что ты здесь.

— Я знаю.

— Правда добрые.

Она пошевелила рукой, пытаясь достать стакан. Я поднесла его к губам и наклонила ровно настолько, чтобы вода коснулась рта. Элиза сделала два маленьких глотка.

— Ещё?

Она покачала головой. Я поставила стакан обратно.

— Можно передохнуть.

— Я пока помню.

— Тогда говорите.

Она посмотрела на фотографию.

— «Я знаю, что у тебя много дел. Пожалуйста, не тревожься обо мне».

Ручка зацепилась за бумагу. Я повернула её и дописала последнюю букву.

— «И не вини себя, если не получается приехать».

Я оставила между словами достаточно места. Переписывать тесные строчки неудобно.

— Она всегда всё принимает близко, — сказала Элиза. — Потом будет себя мучить.

— Это тоже записать?

— Нет. Это я тебе.

Лотте на фотографии стояла вполоборота. Солнце попало в лицо, она щурилась. Уголок снимка выскользнул из крепления и немного загнулся. Элиза заметила, куда я смотрю.

— Поправишь?

Я сняла рамку, отогнула крепления на обороте и выровняла фотографию. Под стеклом застряла пылинка. Я смахнула её сухой салфеткой.

— Вот.

— Спасибо. Всё собиралась попросить.

Я поставила рамку на тумбочку, рядом с телефоном, так, чтобы Элиза могла её видеть, не поворачивая головы.

— Что дальше?

— «Помнишь, как мы ездили к морю и ты набрала камней? Они лежали в прихожей, и я всё время ударялась об этот пакет».

Элиза улыбнулась.

— Тяжёлый был. Она тащила его сама. Не давала мне. А дома бросила возле двери.

— Это написать?

— Напиши, что я на днях вспомнила. И что камни, кажется, до сих пор в шкафу. Я их убрала в коробку из-под сапог.

Я записывала. Элиза замолчала, собирая воздух для следующей фразы. Я подождала. В коридоре открыли дверь шкафа с бельём, потом закрыли с таким грохотом, словно бельё сопротивлялось.

— «Можешь выбросить, если найдёшь», — сказала она.

Я остановила ручку.

— Нет, про это не надо. Она подумает, что я велю разбирать вещи.

— Зачёркиваю?

— Да. Только про море оставь.

Я провела по фразе одну линию.

Родственникам у нас полагалось облегчать каждое слово. Убирать острые углы, подкладывать мягкое. Лотте ещё не открыла конверт, а мать уже успела позаботиться, чтобы та нигде не ушиблась.

— «Мне приятно об этом вспоминать», — продиктовала Элиза. — Так лучше?

— Хорошо получается.

Она расслабила плечи.

— Я не хочу грустное письмо.

— Понимаю.

— Чтобы она открыла и… Ну, чтобы ей было приятно.

— Что ещё ей скажем?

Элиза долго смотрела на свои руки. Я видела, как она перебирает фразы, ещё не произнеся их. Иногда шевелила губами и отказывалась от слов раньше, чем я могла их услышать.

— «Я тебя очень люблю».

Я записала.

— «Можешь позвонить, когда будет время. Даже ненадолго».

Она помолчала.

— У неё бывает поздно. Вы уже свет выключаете.

— Можно и поздно. Мы поможем ответить.

— Тогда так и напиши. Нет, не про вас. «Я буду рада услышать тебя в любое время».

Телефон лежал возле рамки. На чёрном стекле отражалась полоска окна. Я могла бы сейчас поднять его, набрать номер и посмотреть, сколько гудков понадобится дочери, чтобы вспомнить, откуда она взялась. Но Элиза уже следила за моей рукой.

— Всё, — сказала она. — Больше не надо.

— Подпись?

— «Обнимаю. Мама».

Я поставила точку.

Элиза попросила прочесть. Я читала медленно. На словах про заботу она кивнула. Когда дошла до камней, улыбнулась снова. Потом сказала:

— Убери «даже ненадолго».

— Убрать совсем?

— Да. Как будто я торгуюсь.

Я зачеркнула три слова. Прочла оставшиеся две фразы вместе.

— Так хорошо, — сказала она.

Я поднесла тетрадь ближе. Элиза попыталась приподняться, и я остановила её ладонью у плеча.

— Не надо. Я подержу.

Она читала, беззвучно повторяя некоторые слова. На середине страницы попросила чуть повернуть тетрадь: отсвечивало. Я повернула.

— Тут столько исправлений.

— Перепишу на чистый лист.

— Я тебя совсем замучила.

— Вы ещё не видели, как я сама списки составляю.

— У тебя времени нет.

— На это есть.

Она осторожно провела пальцем по нижнему краю страницы, не касаясь букв.

— Адрес я знаю. Можно продиктовать.

Я перевернула лист и записала адрес. Элиза назвала номер дома, остановилась, повторила. Потом индекс. Я прочла всё обратно. Она подтвердила.

— Не потеряется?

— Адрес записан правильно.

— Я про письмо.

— Не потеряется.

Она закрыла глаза. Я положила тетрадь на колени и поправила одеяло у её ног. Правая стопа упиралась в туго заправленный край. Я освободила её, расправила ткань, проверила пятку.

— Йогурт принести?

— Не сейчас. Можно я полежу?

— Конечно.

Я убрала столик в сторону. Телефон оставила рядом с кнопкой вызова, чтобы не пришлось тянуться. Элиза открыла глаза, когда я поднялась.

— Ингрид.

— Да?

— Ты только не пиши, что я ждала. Она и так знает, что я всегда рада.

— Я записала всё, как вы сказали.

— Спасибо.

Я ещё раз подала ей воды. Придержала затылок, пока она пила, и вытерла каплю с подбородка. Потом опустила изголовье немного ниже. Элиза устроила щёку на подушке, уставшая от письма, в котором ни от кого ничего не требовалось.

Тетрадь я закрыла, придерживая страницу пальцем.

«Я ждала тебя каждый день, и ты это знала».

Эту строчку я уже не собиралась зачёркивать.

Глава 4. Конверт без подписи

В три часа ночи холодильник перестал гудеть. Я лежала и ждала, когда он начнёт снова.

Днём я могу уснуть сидя, пока на посту загружается компьютер. Достаточно положить ладонь под щёку. Ночью мне мешает холодильник. Потом его отсутствие. Потом шов на наволочке, который до этого тридцать восемь лет вёл себя прилично.

Я перевернула подушку.

Перед глазами была Элиза. Не вся. Её подбородок, когда я подносила стакан, и тонкая кожа под нижней губой. Я вытерла воду, а она сказала спасибо так, будто я заехала ради неё из другого города.

Лотте могла бы прислать матери открытку. На открытках уже напечатан вид моря, половина работы сделана. Оставалось вспомнить собственное имя.

Холодильник включился. Я встала.

На кухне было холодно у пола. Я надела носки, снятые вечером и оставленные под стулом. В одном нашлась крошка. Вытряхнула её в ладонь, донесла до ведра. На такие вещи ночью хватает сил. Днём можно неделю переступать через пакет у двери.

Чайник я не включила. Налила воды из-под крана и выпила, стоя возле стола.

В девятнадцать лет я пила так же. Из толстого стакана с мутным дном. Садиться было опасно: если садилась, могла не встать до утра. А до утра ещё требовалось выстирать рубашку, найти мелочь на автобус и понять, куда делась квитанция.

Квитанции я тогда хранила в сахарнице. Сахара не было, место освобождалось само.

Мать лежала в этом же хосписе.

У входа ещё не было навеса. Когда шёл дождь, посетители мокли, пока искали кнопку звонка. Я нашла её не сразу и сперва постучала. Потом ещё раз. Мне казалось, в такое место нельзя просто позвонить. Надо как-нибудь потише.

Дверь открыли. Попросили вытереть ноги.

В руках у меня был пакет с ночной рубашкой, расчёской и двумя грушами. Всё, что я сообразила принести человеку, который больше не вернётся домой. Груши оказались твёрдыми. Я выбрала красивые.

Мать лежала у окна. На соседней кровати никого не было, но одеяло уже заправили, и на тумбочке стоял пустой стакан. Я посмотрела на него раньше, чем на неё.

— Ты без куртки? — спросила мать.

— Внизу оставила.

— Украдут.

Я вернулась за курткой.

Когда пришла снова, она держала край простыни между двумя пальцами. На запястье был синяк. Я положила пакет на стул и стала доставать вещи по одной, чтобы не стоять просто так.

— Рубашку постирала.

— Здесь дают.

— Но это твоя.

Она посмотрела на серую ткань с мелкими цветами.

— Убери в шкаф.

Я убрала. Груши поставила на тумбочку.

— Вымыть?

— Потом.

— Одну можно порезать.

— Ингрид, я не хочу грушу.

Я села, держа пакет на коленях. Он шуршал при каждом движении. Наконец я сложила его в маленький квадрат и сунула в карман.

Мать смотрела в окно. Я смотрела на неё и старалась не разглядывать. Это трудно совместить. Щёки у неё изменились, нос остался прежним. На носу всё лицо и держалось.

— Что сказали насчёт денег? — спросила она.

Я назвала сумму поменьше.

Она повернулась.

— За что?

— За уход. Ещё там несколько пунктов.

— Какие?

— Я разобралась.

Она протянула руку к стакану. Стакан стоял слишком далеко. Я подала его, придерживая снизу, хотя она ещё могла держать сама.

— Не наклоняй так, — сказала она.

Я выровняла. Вода дрожала у края.

— Я устроилась ещё в одно место.

— Куда?

— На кухню.

— Ты же убираешь.

— Убираю утром. Это вечером.

Она выпила и отдала стакан.

— Поставь ближе.

Я поставила. Потом подвинула ещё немного.

Обратно я ехала, прижимая к себе куртку. От неё пахло палёным жиром. В тот день на кухне опрокинули противень, и масло затекло под плиту. Мы оттирали его после закрытия. Хозяин стоял рядом и объяснял, что время — деньги. Нам это было особенно полезно знать, потому что за уборку после закрытия он не платил.

Утром я мыла лестницы и туалеты в конторском здании. Вечером — посуду в ресторане. Днём спала, покупала самое дешёвое и звонила в хоспис.

Мне нравилось слово «смена». У него были начало и конец. У всего остального тогда не было.

На первой работе мне выдали связку ключей и сказали не трогать бумаги на столах. На второй — фартук с прожжённым карманом и сказали не есть то, что вернули посетители. К концу недели я знала, на каком этаже расходуют больше туалетной бумаги и кто из официантов соскребает салат прямо в мойку.

Счёт я разложила на кухонном столе. Рядом положила деньги. Потом ещё раз прочла счёт, словно цифры могли устать и немного уменьшиться.

Не уменьшились.

Я взяла дополнительные часы.

По телефону меня спрашивали, кем я прихожусь Агнес.

— Дочь.

— Сейчас уточню.

Пока уточняли, я рассматривала свои руки. Кожа между пальцами потрескалась. В трещинах оставалась грязь, которую не брало мыло, хотя весь день я только и делала, что мыла. Перед визитами к матери я чистила ногти старой зубной щёткой.

— Сегодня состояние без существенных изменений.

— Она ела?

— Немного.

— Ей больно?

— Она получает обезболивание.

Я не знала, что спросить дальше. Казалось, существует правильный вопрос, после которого мне наконец объяснят, сколько у меня времени. Но я всегда спрашивала про еду.

В следующий раз я принесла крем. Мать когда-то пользовалась таким, и я решила, что это будет полезнее груш.

Тюбик она узнала.

— Дорогой.

— Была скидка.

Скидки не было. Я уже освоила семейную бухгалтерию: всё стоило меньше, чем стоило, а зарабатывала я больше, чем зарабатывала.

— Намазать руки?

Она положила ладонь на одеяло.

Я выдавила слишком много. Белая полоса легла от костяшек до запястья. Пришлось размазывать долго, придерживая каждый палец. На среднем ещё оставался след от ручки, хотя писать она почти перестала.

— Сильно?

— Нет.

Я растирала крем осторожнее. Тогда я ещё не умела касаться больных людей. Всё время ждала, что под рукой что-нибудь повредится.

— Здесь жарко, — сказала мать.

— Открыть окно?

— Потом забудешь закрыть.

Я убрала руку с рамы.

У неё смялась рубашка под плечом. Я заметила красную полоску на коже и потянула ткань вниз.

— Подожди. Я поправлю.

Мать приподнялась, сколько смогла. Я просунула ладонь ей под спину. Она оказалась горячее, чем я ожидала, и легче. Я разгладила рубашку, поправила подушку. Мать легла и некоторое время дышала с закрытым ртом.

— Так лучше?

Она кивнула.

Я сидела рядом, пока крем впитывался. На работу надо было выходить через двадцать минут. Потом через пятнадцать.

— Мне пора, — сказала я.

Мать открыла глаза.

— Уже?

— Автобус. Если этот пропущу…

Я не закончила. Она знала, что бывает, если пропустить автобус.

— Хорошо, — сказала она.

У двери я обернулась.

— В четверг приду.

— Возьми пакет. Не оставляй тут.

Я забрала пустой пакет из-под крема.

В четверг заболела женщина, с которой мы убирали этажи. Меня спросили, могу ли я выйти за неё. Я спросила, заплатят ли отдельно. Сказали да.

В перерыв я позвонила матери. Телефон ей принесли не сразу.

— Я сегодня не успеваю.

Она молчала. Я слышала, как кто-то возле неё передвинул стул.

— Завтра постараюсь.

— Не надо стараться, — сказала мать. — Скажи, когда придёшь.

— В субботу.

— Хорошо.

— Тебе что-нибудь нужно?

— Нет.

Я подождала.

— Крем не потеряли?

— Здесь.

— Ладно. Тогда в субботу.

После разговора я съела бутерброд над ведром. На хлебе остался круг от мокрого стакана. Я не помнила, когда поставила его сверху.

В субботу я проснулась в одежде. Было темно.

Сначала я подумала, что ещё утро. Потом увидела время на плите. Часы там спешили на семь минут, но это уже ничего не меняло.

Я села. На щеке отпечатался шов рукава. Во рту было кисло. В прихожей стояли ботинки, которые я сняла, не развязывая шнурков.

Можно было позвонить. Можно было одеться и поехать. Я даже встала, дошла до ванной, пустила воду.

Пока она текла, я сидела на краю ванны.

Потом выключила кран и вернулась в постель.

Наутро я сказала по телефону, что не смогла вырваться с работы. Сказала быстро. В это легко было поверить: в остальные дни я действительно не могла вырваться.

— Передайте, что я приду.

— Когда передать, что придёте?

Я назвала день.

До этого дня мать не дожила.

Мне позвонили в ресторан. Телефон висел возле двери в подсобку, над ящиком с чистыми полотенцами. Я вытерла руки о фартук. Полотенце брать было нельзя: чистые предназначались для посетителей.

Спросили, Ингрид ли я.

Я сразу сказала:

— Да. Что?

Голос на другом конце стал медленнее. Мне сообщили, что Агнес умерла. Назвали время.

Я посмотрела на часы над дверью. Прошло сорок минут. Сорок минут я смывала сливочный соус с тарелок. Одну разбила. За разбитое вычитали из заработка, и я ещё не успела решить, сказать сейчас или дождаться конца смены.

— Вы сможете приехать?

— Она одна была?

Мне ответили, что рядом был сотрудник.

— А она…

Я замолчала.

— Приезжайте, когда сможете.

Я положила трубку, но рука не сразу разжалась. Пришлось снять её с телефона другой рукой.

Хозяин спросил, что случилось. Я сказала. Он посмотрел в сторону зала.

— Сейчас самый поток.

Потом, должно быть, услышал себя.

— Конечно, иди.

Я развязала фартук. Узел затянулся, я ковыряла его ногтем. Хозяин стоял рядом. Не помогал, не уходил. Наконец я стянула фартук через голову и оставила на ящике с полотенцами.

В автобусе было свободное место. Я села, поставила сумку на колени и проверила, взяла ли деньги на обратную дорогу.

В хосписе попросили немного подождать.

На столике у входа лежали журналы. В одном женщина в белых брюках держала миску салата. Я читала заголовок над её головой снова и снова. Он обещал, что несколько простых перемен помогут вернуть радость жизни.

Потом меня позвали.

Мать лежала ровно. Слишком ровно для человека, который всё время съезжал с подушки и тянул простыню к подбородку. Волосы ей пригладили. Я заметила, что пробор сделали не там.

Рядом стоял стул.

— Можно посидеть, — сказали мне.

Я села.

Мне хотелось поправить ей волосы. Я протянула руку, остановилась, потом всё-таки провела пальцами по виску. Там уже было прохладно.

— Я с работы, — сказала я.

Это прозвучало как объяснение опоздания. Я больше ничего не придумала.

На тумбочке стоял крем. Я взяла его и стала закручивать крышку. Она и так была закручена. Тогда я отвернула её и закрыла снова, ровно, чтобы резьба не перекосилась.

Вещи отдали в пакете. Серую рубашку, расчёску, тапочки. Одной груши не было. Вторая сморщилась возле черенка.

Я спросила, нужно ли ещё что-нибудь оплатить.

Мне сказали, где уточнить.

Следующие дни я занималась тем, что мне велели. Приходила, подписывала, показывала документ. Если спрашивали, какой вариант выбрать, выбирала тот, на который хватало денег. Люди при этом старались смотреть мне в лицо. Особенно когда называли цену.

На работу я вышла почти сразу. Там было удобно. Полная мойка означала, что надо мыть. Пустая — что можно идти за следующей тележкой.

Конверт пришёл через неделю после смерти матери.

Он лежал в почтовом ящике между рекламой продуктов и уведомлением о платеже. Белый, обычный. Моё имя и адрес. Обратного адреса не было. Никакой подписи снаружи тоже.

Я поднялась к себе и сперва убрала молоко в холодильник. Оно успело согреться по дороге. Потом сняла куртку. Потом открыла конверт кухонным ножом, потому что ноготь на большом пальце был сломан.

Внутри лежал один сложенный лист. К нему прилагалась узкая записка: письмо записано со слов Агнес по её просьбе.

Я положила записку рядом с ножом.

«Ингрид.

Я хочу сказать тебе то, о чём раньше не говорила. Сейчас нет смысла откладывать.

Я никогда не хотела ребёнка.

Когда ты родилась, я делала всё необходимое. Ты была накормлена, одета, у тебя был дом. Мне было трудно, но я справлялась. Я не считаю, что могла дать больше, чем дала.

Ты всё время ждала от меня чего-то ещё. Теперь ждать не нужно.

Я понимаю, что у тебя работа и своя жизнь. Ты можешь не объяснять, почему не приходишь. Я не прошу тебя приезжать.

После моей смерти распоряжайся вещами как считаешь нужным. Ничего хранить ради меня не надо».

Я дочитала до конца и перевернула лист. С другой стороны ничего не было.

Тогда я снова прочла начало. Проверила своё имя. Проверила имя матери в маленькой записке.

На плите стояла кастрюля с водой. Я собиралась сварить макароны и забыла включить конфорку. Опустила палец в воду, зачем-то убедилась, что холодная.

«Я никогда не хотела ребёнка».

В девятнадцать лет слово «ребёнок» уже не должно было относиться ко мне. Я работала, платила по счетам, могла сама купить лекарство и разобраться с похоронами. Но на листе это слово означало меня. Ни должность, ни количество отработанных часов ничего не меняли.

Я села.

Через какое-то время встала и принесла из сахарницы квитанции. Разложила возле письма. Вот сумма. Вот дата. Здесь я заплатила раньше срока. Здесь внесла сразу за две недели.

Я подвинула бумаги так, чтобы всё было видно.

Потом убрала обратно.

Я не позвонила в хоспис. Не спросила, кто сидел рядом, когда мать говорила, сколько времени это заняло и велела ли она перечитать. Тогда мне даже не пришло в голову искать человека, который держал ручку. Мне было достаточно имени Агнес на маленькой записке.

Я сложила лист по прежним сгибам. Нижний край не совпал, пришлось расправить и начать заново.

Макароны в ту ночь я так и не сварила.

Холодильник снова замолчал.

Я стояла на своей нынешней кухне с пустым стаканом. От края стола до раковины было два шага. Я сделала их, сполоснула стакан и поставила сушиться.

В девятнадцать лет у меня были две работы. У меня были счета за её уход, аренда, проезд. Если я не выходила в смену, денег становилось меньше. Если выходила, могла заплатить. Очень понятная система. Даже в девятнадцать лет я в ней разобралась.

Лотте была взрослая. Сын Акселя тоже. У всех этих людей хватало времени сменить номер, переехать, купить новую куртку, съездить куда-нибудь, где их сфотографируют возле воды. На мать времени не оставалось. Мать, к сожалению, нельзя было перенести в календаре на следующую неделю одним движением пальца. Приходилось просто ждать, пока вопрос закроется сам.

— У меня была причина, — сказала я.

На кухне это прозвучало громко.

Я посмотрела на часы. До будильника оставалось меньше двух часов. Утром Элизе надо будет помочь умыться. Она любит, чтобы вода была тёплой, но проверяет её сначала пальцами, будто я могу нарочно принести холодную. Надо не забыть маленькое полотенце для шеи. Большое ей тяжело.

— А у них нет, — сказала я тише.

Нижний ящик стола немного заедал. Я потянула за ручку, потом приподняла. Внутри стояла коробка с конвертами. Сверху лежали те, на которых адреса написала я. Под ними — материнский, пожелтевший по краю.

Я знала, где он. Не нужно было перебирать.

Я прижала пальцем выступающий угол, чтобы он не попал под крышку. Сам лист остался внутри. Я его не перечитывала.

Закрыла коробку. Задвинула ящик.

Глава 5. Маргит

К утру я решила, что спала достаточно. Решение было принято без участия организма: он ещё лежал где-то в ночи, а я уже застёгивала форму и искала второй носок.

На улице снег стал серым. Его не убрали, только утоптали в кашу, чтобы никто не мог обвинить зиму в бездействии. У входа стояла машина санитарной службы с работающим двигателем. Водитель сидел внутри, уткнувшись в телефон. Я подумала, что в его положении можно было хотя бы сделать вид, будто он занят чем-то важным.

В сестринской Хедда раскладывала чашки. На столе остывал кофе и лежал лист с расписанием. Кто-то оставил рядом ложку, к которой прилипла полоска овсянки.

— Ты поздно, — сказала Хедда.

Я посмотрела на часы.

— На две минуты.

— Я не про часы.

Она подвинула ко мне чашку. Кофе был крепкий и уже холодный. Хедда умела заботиться так, чтобы человек не мог отказаться, не показавшись неблагодарным.

— Сегодня привозят Маргит, — сказала она. — После девяти.

Я сняла пальто.

— Куда?

— В седьмую палату. Твою.

— Я не знала, что палаты распределяют по личной симпатии.

— Не распределяют. Но старые сотрудники попросили, чтобы ей досталась ты.

— Почему?

— Не знаю. Может, думают, что вы поладите.

Хедда произнесла это с видом человека, который уже успел пожалеть о чужой надежде.

— А ты что думаешь?

— Я думаю, что сегодня мне надо заменить бельё в пятой и позвонить на кухню насчёт супа. А что вы там будете делать, вы решите сами.

Она взяла ложку со стола и соскребла овсянку ногтем. Ложку положила в мойку.

— Она давно здесь работала? — спросила я.

— Тридцать лет.

— Тогда, наверное, знает, где лежат чистые простыни.

— Наверное.

Хедда улыбнулась. Ей нравилось, когда люди были резкими. Это давало ей повод считать, что под резкостью у них что-то хорошее. Удобная вера. Её можно было носить годами, не стирая.

В коридоре кто-то остановился, и сестринская сразу наполнилась голосами.

— Вот и приехала, — сказала одна из медсестёр.

— Не надо толпой, — отозвался мужчина. — Она ещё не умерла.

— Ты всегда умел поддержать.

Я вышла посмотреть. У входа санитар стоял с тележкой, на которой лежал сложенный плед и небольшая сумка. Рядом медсестра придерживала дверь. На пороге сидела пожилая женщина в куртке, застёгнутой не на ту пуговицу. Шарф был намотан вокруг шеи туго, будто она сама себе запретила дышать слишком глубоко.

— Я могу сама, — сказала она.

— Конечно, — ответила медсестра и всё равно подала руку.

Женщина посмотрела на её ладонь.

— Я сказала: могу сама.

Она поднялась, опираясь на трость. На первом шаге её повело в сторону. Медсестра подхватила её под локоть. Женщина не поблагодарила, но и руку не отняла.

Её лицо казалось сухим и собранным. Седые волосы были коротко подстрижены. Под пальто виднелась тёмная кофта с ровно застёгнутыми пуговицами. На запястье, поверх рукава, блестели часы с узким ремешком.

В коридоре собрались сотрудники. Кто-то улыбался слишком широко. Кто-то держался у стены и смотрел, как на экзамене, к которому не готовился, но теперь всё равно придётся сдавать.

— Маргит, — сказала старшая медсестра, — рада, что ты у нас.

— Не начинай. Я не на собеседовании.

— Мы тебя ждали.

— Это многое объясняет.

Кто-то засмеялся. Кто-то нет.

Санитар потянул тележку к палате. Маргит пошла следом, не торопясь и не позволяя никому обогнать её. На повороте она остановилась, оглядела коридор.

— Здесь ничего не поменяли.

— Поменяли пол, — сказала Хедда.

Маргит посмотрела вниз.

— Это не считается. Всё равно скользко.

— Мы посыпаем.

— Тогда посыпайте равномерно. У стены сухо, у двери каток.

Она поехала дальше. Санитар посмотрел на пол. Молодая медсестра, которая открывала ей дверь, тоже посмотрела.

Я вернулась к посту. В нижнем ящике лежала тетрадь для черновиков и стопка конвертов. На столе сверху остался лист с моими пометками. Я переложила его в тетрадь и закрыла ящик.

В палате Элизы было тепло. Она лежала на боку, руки под щекой. Фотография Лотте стояла на тумбочке, чуть развёрнутая к кровати. Я поправила край одеяла и проверила воду в стакане.

— Доброе утро, — сказала я.

— Уже утро?

— Похоже на то.

— Я думала, ещё ночь.

— Ночь закончилась. Никто не предупредил, так что она может вернуться.

Элиза улыбнулась и закрыла глаза.

— Хорошо бы.

Я поменяла стакан, долила воды, проверила подушку. Она не спросила про письмо. Я тоже не спросила. Её настоящие слова оставались в тетради. Мои уже лежали в блокноте, в кармане халата: несколько строк, которые я набросала ночью.

Потом я пошла в седьмую палату.

Маргит уже сидела на краю кровати. Пальто висело на спинке стула, сумка стояла у тумбочки. Молодая медсестра держала в руках упаковку с бельём и ждала указаний.

— Простыня не та, — сказала Маргит.

— Это чистая простыня.

— Я вижу. Но не та.

— У нас одинаковые.

— Тогда почему эта короткая?

Медсестра посмотрела на простыню, потом на меня. Я подошла и взяла край. Простыня действительно была на пару сантиметров короче. Не настолько, чтобы это имело значение. Настолько, чтобы Маргит могла быть права.

— Возьмите другую, — сказала я.

Медсестра поставила упаковку на стул и вышла за новой.

— Она молодая, — сказала Маргит, когда дверь закрылась.

— У всех это бывает.

— Я знаю. Я тоже была молодой.

— Вам повезло, что вы пережили этот период.

— Мне помогали хорошие люди.

— Тогда отделение было лучше?

— Нет. Просто люди были моложе, и от этого им казалось, что они всё успеют исправить.

Она говорила спокойно, без попытки понравиться. Голос был тихий, но не слабый. Каждое слово ставилось на место, как чашка на полку.

Медсестра вернулась с другой простынёй. Маргит проверила её на ощупь.

— Эта подойдёт.

— Спасибо, — сказала медсестра.

— Не мне. Себе. Ты теперь не будешь застилать заново.

Девушка опустила глаза, но улыбнулась. Видимо, решила, что это похвала. Вполне возможно, что так и было.

Я помогла Маргит снять куртку. Она позволила мне поддержать её за локоть, пока пересаживалась на кровать. На руке под рукавом обнаружились старые синяки, желтоватые по краям. Я не стала спрашивать откуда. У пожилых людей достаточно способов набрать синяков, не выходя из комнаты.

— Больно? — спросила я.

— Нет.

— Если станет, скажите.

— Если станет, я сама скажу.

— Хорошо.

Я поправила подушку и подтянула одеяло. Маргит следила за моими руками.

— Вы обычно так разговариваете с пациентами? — спросила она.

— Как?

— Будто выдаёте им инструкции к собственному телу.

— Это экономит время.

— На что вы его экономите?

Я проверила тормоза на кровати. Они были включены.

— На следующий раз.

— Разумно.

Она отвернулась к окну. За стеклом дворник сгребал снег от входа к бордюру. На дорожке оставалась узкая полоса, по которой можно было пройти, если не торопиться и не верить обуви.

На тумбочке стояла чашка. Маргит потянулась к ней, но не достала. Я придвинула ближе.

— Сахар не нужен, — сказала она.

— Я не спрашивала.

— Вы держите пакетик в руке.

Я положила его обратно на поднос.

— Хорошее зрение.

— Пока ещё не списали.

Она отпила. Поморщилась.

— Остыло.

— Я только что принесла.

— Значит, принесли холодным.

— Могу заменить.

— Не надо. Я не собираюсь начинать день с переговоров о чае.

— Тогда начните с чего-нибудь другого.

— Например?

— С распаковки сумки.

Маргит посмотрела на меня поверх чашки.

— Вы всегда так помогаете людям устроиться?

— Только тем, кто просит.

— Я не просила.

— Тогда вы уже устроились.

Она поставила чашку на тумбочку. Не туда, где она стояла раньше, а ровно посередине, чтобы ручка смотрела к кровати.

— Кто-нибудь приносил сюда нормальный чай? — спросила она.

— Нет.

— Хорошо. Значит, мне не с чем сравнивать.

Я собрала пустую упаковку, сложила её пополам и убрала в корзину. Я достала из кармана халата блокнот, чтобы проверить, не забыла ли записать просьбу Элизы о тёплой воде. Обложка была приоткрыта. Внутри виднелась страница с черновиком письма. Несколько строк, адрес и зачёркнутая фраза. Я закрыла блокнот, но Маргит успела посмотреть.

— Тоже записываете? Я раньше тоже, когда просили.

Я придержала блокнот ладонью.

— Сейчас я записываю только то, что нельзя забыть.

— Хороший способ забыть остальное.

— Если забыть, оно обычно само напоминает.

Она посмотрела на меня. В её лице не было улыбки, но уголок рта чуть сдвинулся.

— Откройте окно.

Я повернулась к стеклу.

— Вам холодно?

— Душно.

— Сквозняк будет.

— Я не просила открыть дверь.

Я подошла к окну. Рама была старой, ручка тугой. Я повернула её и приоткрыла створку. Холодный воздух вошёл в комнату, пахнул мокрым снегом и выхлопом. Снаружи дворник бросил лопату на край дорожки.

— Достаточно? — спросила я.

— Нет.

Я открыла шире.

— Теперь достаточно.

— У вас всегда такие сложные отношения с окнами?

— Только когда их открывают без причины.

— У меня есть причина.

— Душно.

— Именно.

Я не стала отвечать. Закрыла дверь в палату до щелчка, чтобы воздух не тянул в коридор.

Маргит положила руки поверх одеяла. Пальцы были длинные, суставы крупные. Она сцепила их и сразу разъединила, будто передумала.

— Здесь по-прежнему холодно в коридоре, — сказала она.

— Зимой бывает.

— Раньше дверь в конце не закрывалась.

— Теперь закрывается.

— Значит, что-то всё-таки поменяли.

Я посмотрела на ручку двери.

— Это не считается.

— Вы быстро учитесь.

Мне не понравилось, что она сказала это почти ласково. Я поправила поднос, хотя он стоял ровно.

— Позвать кого-нибудь? — спросила я.

— Зачем?

— Чтобы помочь с сумкой.

— Я справлюсь.

— Вы только что не достали чашку.

— Чашка стояла далеко.

— Сумка тоже.

— Она легче.

Маргит потянулась к сумке и подтянула её к себе. Одно движение вышло неловким. Она остановилась, переждала, потом взялась снова. Я не помогла. Когда сумка оказалась на кровати, она открыла застёжку.

Внутри лежали расчёска, две пары носков, полотенце, бутылочка с лосьоном и сложенный кардиган. Всё упаковано так, словно вещи должны были пройти проверку. Маргит достала кардиган и положила на спинку стула.

— В шкафу есть плечики, — сказала я.

— Я знаю, где бывают плечики.

— Разумеется.

— Вы так говорите, будто надеетесь меня раздражать.

— Я не надеюсь. Надежда здесь ни при чём.

Она хмыкнула. Это могло означать смех, если не требовать от него слишком многого.

Я взяла пустую чашку и пошла к двери.

— Вы кто? — спросила Маргит.

— Ингрид.

— Я знаю, кто вы. Я спрашиваю, вы здесь давно?

— Достаточно.

— Удобный ответ.

— На неудобные вопросы он подходит лучше.

Маргит посмотрела на меня так, будто проверяла размер ответа и находила его подходящим.

— Вы из тех, кто считает, что короткая фраза заменяет разговор?

— Если разговор длинный, обычно да.

— Тогда здесь будет скучно.

— Мне пока хватает работы.

— Работа есть всегда. Это не то же самое, что интерес.

Я поставила чашку на поднос и вышла. В коридоре на тележке лежали чистые полотенца. Я отнесла их в кладовую, проверила запас перчаток и помогла санитару развернуть матрас в соседней палате. Когда вернулась, окно в седьмой было закрыто.

Маргит лежала на боку, лицом к стене. Стул стоял ближе к кровати. На нём аккуратно висел кардиган.

— Закрыли? — спросила я.

— Само закрылось.

— Окна редко делают это сами.

— Тогда кто-то сделал.

— Кто-то из вас?

— Вы спрашиваете так, будто собираетесь составить протокол.

— Мне надо знать, оставлять ли открытым.

— Не надо.

Я подошла к окну. Ручка была повёрнута вниз. Закрыто плотно. Я не открывала его снова.

— Вам принести воды?

— Нет.

— Обезболивающее?

— Нет.

— Что-нибудь ещё?

Маргит перевернулась на спину.

— Вы всегда ждёте, пока человек сам попросит?

— Да.

— Даже если он не попросит?

— Особенно тогда.

Она ненадолго замолчала.

— Это удобно.

— Кому?

— Вам.

Я проверила стакан на тумбочке. Воды оставалось достаточно.

— Если что-нибудь понадобится, нажмите кнопку.

— Я знаю, где кнопка.

— Хорошо.

Я вышла и прикрыла дверь.

У поста меня ждала Хедда. Она держала в руках чистое полотенце, сложенное пополам.

— Ну как? — спросила она.

— Окно закрыла.

— Это ответ не на тот вопрос.

— Других у меня пока нет.

Хедда улыбнулась, но ничего не сказала. Она знала Маргит давно. Возможно, хотела услышать что-то конкретное. Возможно, просто хотела услышать, как я буду выкручиваться.

Я вернулась в сестринскую. На столе всё ещё стоял холодный кофе. Я выпила его залпом. Он оставил на языке горький привкус и ощущение, будто я опять забыла что-то важное.

Потом проверила список пациентов. На сегодня хватало перевязок, лекарств, белья и звонков. У Элизы надо было помыть волосы. В пятой палате сын снова обещал приехать, хотя обещать можно было не выходя из дома. В седьмой лежала женщина, которая не нуждалась в помощи с окнами и всё равно не могла достать чашку.

Я сполоснула чашку. Когда ставила её сушиться, из коридора донёсся голос Маргит. Видимо, дверь седьмой опять кто-то открыл:

— Не этот стул. Он шатается.

Молодая медсестра ответила что-то тихо.

— Громче. Я не глухая.

Я вытерла руки и пошла проверить, что там происходит. По дороге поймала себя на том, что мне интересно, что Маргит скажет дальше. Это было непривычно. Почти досадно.

Глава 6. Заднее крыльцо

Маргит подождала, пока я поставлю на тумбочку таблетки, и сказала:

— Мне нужна коляска.

— Куда собрались?

— На заднее крыльцо.

Я проверила её стакан. Полный. Иногда люди просили вещи, которые стояли перед ними. Маргит просила то, чего ей заведомо не дадут.

— Там холодно.

— Поэтому пальто тоже понадобится.

— Вы можете пройти по коридору. Я помогу.

— По коридору я уже ходила. Тридцать лет.

Она проглотила таблетки по одной. После второй остановилась, переждала, прижав ладонь к груди. Я не торопила. Потом поднесла стакан ближе к её рту.

— На улице скользко, — сказала я.

— Я не собираюсь танцевать.

— А что собираетесь?

Маргит открыла ящик тумбочки. Под расчёской лежала пачка сигарет. Она показала её, как удостоверение.

— Нельзя, — сказала я.

— Я знаю. Мне показывали бумагу.

— И на двери написано.

— На двери написано для тех, кто потерял бумагу.

Я убрала пустую упаковку от таблеток. Маргит держала пачку на коленях. Не прятала, не трясла ею. Ждала.

— Позовите кого-нибудь другого.

— Другой начнёт говорить о моём здоровье.

— Может быть, стоит послушать.

— Я предпочла бы что-нибудь новое.

На пачке был изображён человек, которому повезло оказаться только на пачке. Я посмотрела на часы. До развоза ужина оставалось сорок минут. В соседней палате спали. У Элизы только что сменили бельё, Брам отказался от чая, Аксель после лекарства дышал ровнее. Всё, что можно было сделать сейчас, было сделано.

— Одну, — сказала я.

— Я не прошу блок.

— И не дольше пяти минут.

— От первого дыма. Дорога не считается.

Я сходила за коляской.

Маргит уже надела кардиган и пыталась попасть рукой в рукав пальто. Локоть застрял в подкладке. Я расправила ткань, поддержала запястье. Кожа была сухая, почти горячая.

— Не тяните, — сказала я. — Сейчас.

Она перестала двигаться. Я провела рукав через кисть и застегнула две верхние пуговицы. Потом поставила коляску на тормоза.

— За шею не хватайтесь. Обопритесь на подлокотник.

— Я умею пересаживаться.

— Тогда покажите.

Она поднялась слишком быстро. Колени дрогнули. Я подхватила её под локоть и придержала у пояса. Под пальто оказалось удивительно мало человека. Маргит села и сердито поправила воротник.

Я поставила её ноги на подножки, накрыла колени одеялом и подвернула края, чтобы не попали в колёса. Она позволила.

У поста Хедда разбирала полотенца.

— На прогулку?

— На воздух, — сказала Маргит.

Хедда посмотрела на меня. Потом на карман пальто, из которого торчал угол пачки.

— Я ничего не видела.

— С возрастом бывает, — сказала Маргит.

Хедда фыркнула и отвернулась к полотенцам.

Заднюю дверь приходилось удерживать бедром. Доводчик был исправен и потому старался переломить коляску пополам. Я вывезла Маргит на бетонную площадку, закрыла дверь и проверила, открывается ли она снаружи.

Под навесом снег не лежал. Дальше начинались три ступеньки, посыпанные тёмной крошкой. У стены стояло ведро с песком и совок с треснувшей ручкой. Из кухонной вытяжки шёл запах варёной капусты. Воздух, ради которого мы нарушили запрет, был не так уж хорош.

— Придвиньте к стене, — сказала Маргит. — Здесь тянет.

Я повернула коляску и подняла воротник у неё на затылке. Она достала сигарету. Зажигалка щёлкнула трижды. Большой палец соскальзывал с колёсика.

— Дайте.

— Сама.

Я подождала ещё две попытки, потом протянула ладонь. Маргит отдала зажигалку. Я прикрыла пламя рукой. Она наклонилась и затянулась.

Первый кашель согнул её почти до колен. Я положила ладонь ей между лопатками и держала, пока она не выпрямилась.

— Хорошо пошло? — спросила я.

— Превосходно.

Глаза у неё слезились. Я достала бумажный платок. Она вытерла рот и вернула мне.

— Теперь сами, — сказала она.

— Не курю.

— Какое упущение.

За углом хлопнула автомобильная дверца. По дорожке к главному входу шёл мужчина с большим букетом в прозрачной упаковке. Цветы он держал перед собой обеими руками. На голом льду букеты всегда выглядят увереннее людей.

— В пятую, — сказала я. — Наконец доехал.

— Далеко живёт?

— Двадцать минут. Если пробки, двадцать пять.

Маргит посмотрела ему вслед.

— Трудный путь. Цветы, наверное, менял в дороге.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.